

В. Е. Ветловская

**ПРОБЛЕМЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В ПОНИМАНИИ ПУШКИНА.
ТЕМА ДЕНЕГ В ТРАГЕДИИ «СКУПОЙ РЫЦАРЬ»**

С середины 1820-х гг. (и чем дальше, тем больше) Пушкина, как известно, занимали проблемы истории. Живейший интерес поэта к процессам, происходящим на Западе, был связан с его размышлениями над судьбами России, дальнейшие пути которой не исключали повторения тяжелого опыта Европы. События Великой французской революции прозвучали смертным приговором многовековому феодально-монархическому строю, и мыслящим умам стало ясно, что будущее чревато революционными потрясениями, что вопрос заключается только в том, когда, в каких формах, с какими местными особенностями они совершатся в каждой из европейских стран. Тем настоятельнее была необходимость присмотреться к новым веяниям, истинам и идеалам, которые несли миру буржуазные отношения взамен истин и идеалов, утративших прежний смысл и отброшенных или отбрасываемых за ненужностью в общую грудку «предрассудков».

В этой связи в творчестве Пушкина возникает тема денег. Именно деньги — кумир нового времени. Их власть, исподволь укреплявшаяся при старом порядке, при новых общественных отношениях становится всеобъемлющей и безраздельной.

Тема денег положена в основу первой из «маленьких трагедий» — «Скупой рыцарь». Задуманная еще в 1826 г., эта драма была завершена осенью 1830 г. и несла на себе печать глубокой и зрелой мысли.

Ввиду чрезвычайного лаконизма пушкинского письма почти любой фрагмент его художественной работы требует обширных пояснений. Анализ драмы в целом вышел бы за пределы возможностей любой статьи. Мы ограничимся здесь монологом барона.

* * *

Монолог барона — вторая, центральная, сцена драмы. Рассуждая об отношениях отца и сына в этой драме в связи с ее композицией, Б. П. Городецкий писал: «... если бы отношения между сыном и

отцом были основным источником трагизма „Скупого рыцаря“, то центр тяжести пьесы был бы распределен между первой и третьей сценами, где действуют оба героя пьесы (заметим: в первой сцене старый барон не «действует». — В. В.), между тем как центральной и основной является вторая сцена, где действует лишь один Барон. Трудно себе представить пушкинского „Скупого рыцаря“ в составе только первой и третьей сцен без центральной, в то время как последняя может существовать самостоятельно, что и доказывается восприятием ее на театральной сцене в качестве оправданного в своей целостности драматического произведения».¹ Нет ничего более далекого от замысла Пушкина, чем такое восприятие его драмы, несмотря на то что оно обычно. Непонятно, зачем представлять произведение художника в каком бы то ни было составе, за исключением того состава, в котором оно уже представлено. Что же касается «целостности», то вторая сцена обладает ею не больше, чем любое исповедание веры, развернуто и открыто выраженное тем или иным героем в произведении любого жанра (не обязательно драматического). Патетическая и художественная сила монолога, законченность высказанного убеждения не должны сбивать с толку. Значение части, вырванной из контекста, никогда не совпадает, да и не может совпадать с тем значением, которое она имеет в системе целого. Но уже Белинский, говоря о драме, сосредоточил внимание именно на второй сцене. Более убедителен в своем подходе Н. М. Минский: «...все три главных персонажа драмы — старый Барон, его сын и жид Соломон — связаны между собою не только драматически, но и психологически, служат друг для друга не только необходимым средством для развития интриги, но еще зеркалом и фоном, так что каждый из них получает свою рельефность от соседства с другим, по закону подобий и контрастов». Однако исследователь немного извлек из этого наблюдения, тотчас обратившись, как и Белинский, к анализу одного персонажа: «Центральное место в драме занимает скупой рыцарь, центральная тема драмы — освещение художественно воплощенной в нем страсти скупости».²

Сразу подчеркнем один момент. В исследовательской литературе давно укоренилось и коцует из работы в работу мнение, будто старый рыцарь, барон Филипп, — ростовщик. Об этом мельком писал, в частности, Б. В. Томашевский,³ на этом настаивал Г. А. Гуковский: «...ни при каких обстоятельствах рыцарь не должен быть накопителем, ростовщиком, скупцом. А вот пушкинский рыцарь — ростовщик и скупец; вернее, он стал ростовщиком и скупцом, сделался им, и в этом его трагедия».⁴ Исследователь дает в синонимическом ряду понятия не синонимической природы: накопительство и скупость — черты характера; ростовщичество — профессия. Скупость не обязывает к занятию ростовщичеством — передачей денег в рост под те или иные проценты. Скупец Плавта из комедии «Клад» (III—II в. до н. э.) — первый в серии однотипных ему характеров, известных европейской традиции (которая с Плавта не начинается, поскольку римский автор лишь обрабатывал

греческие сюжеты), — не имеет отношения к этому занятию. И так же скупой рыцарь. А. В. Аникин прав, не соглашаясь с бытующим странным заблуждением, в защиту которого в тексте Пушкина нельзя найти «никаких указаний — ни прямых, ни даже косвенных. Показательно, что Белинский (...) ни словом не упоминает о ростовщичестве Барона. Вдова с тремя детьми, стоявшая на коленях под дождем, и ленивец и плут Тибо могли быть должниками Барона по взятым ранее ссудам (это допущение, на мой взгляд, ложно. — В. В.), но они могли быть также арендаторами земли или плательщиками феодальной подати. Последнее кажется более вероятным (думаю, что только это и правильно. — В. В.). Их отношения — это отношения феодального сеньора и зависимых от него крестьян, а не рыночные отношения независимых людей, заимодавца и заемщиков».⁵ Следуя логике тех, кто склонен видеть в скупом рыцаре ростовщика, мы могли бы с таким же основанием назвать ростовщиком Аркадия Павловича Пеночкина или его старосту Софрона из рассказа Тургенева «Бурмистр». Феодальная подать взималась и натурой, и деньгами. Скупой рыцарь должен был предпочитать именно деньги. Возможно, заблуждение, увязывающее барона с ростовщичеством, явилось под влиянием «Венецианского купца» или «Скупого» Мольера. Шейлок — ростовщик по профессии, так же как и пушкинский Соломон. Но даже Гарпагон (XVII век!) занимается ростовщичеством (ввиду предосудительности ремесла) втайне, через посредников. Между тем вдова с тремя детьми (как и Тибо, конечно) приходит к барону открыто, ни от кого не прячась. И как бы мог Альбер, говоря о пороках отца в первой сцене, ни звуком не обмолвиться о таком нарушении рыцарской присяги и пропустить без возражений такое обвинение? Социальные отношения средневековья, если даже оставить в стороне рыцарские обеты, исключают возможность соединения в одном лице феодала и ростовщика. «Рядом с Соломоном, — пишет А. В. Аникин, — он (Д. Д. Благой. — В. В.) предлагает видеть в Бароне „еще одного ростовщика“, что означает совершенно игнорировать непреодолимые сословные перегородки феодального общества».⁶ Пушкин, столь точный, как правило, в мелочах и деталях, тем более не мог покинуть почву реальности и историзма в таких серьезных вещах.

Да ему и не нужно было этого делать. Для того чтобы фигура барона осветилась трагическим светом, герою нет необходимости становиться ростовщиком, достаточно перейти разумную меру скупости. Возведенная в высшую степень — в степень безумия, маниакальной идеи — эта страсть в принципе не совместима с ростовщичеством. Ведь барон Филипп только наполняет золотом свои сундуки:

Счастливый день! могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.
Не много, кажется, но понемногу
Сокровища растут, — *

* Здесь и далее трагедия «Скупой рыцарь» цитируется по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1937—1959. Т. 7.

но, разумеется, он не смеет взять из них ни одного дублона. По мнению Белинского, именно безудержная страсть делает барона «лицом трагическим». Раскрывая «мрачные бездны сердца своего героя», Пушкин, как считает критик, заставляет читателя содрогнуться «от трагического величия гнусной страсти скупости», заставляет увидеть, «что она естественна, что у ней есть своя логика...» Цитируя далее монолог барона от слов:

Что не подвластно мне?.. —
до слов:
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознания..., —

Белинский продолжает: «Ужасно, потому что истинно! Да, в словах этого отверженца человечества, к несчастью, все истинно, кроме того, что не в его воле пожелать многое из того, что он мог бы выполнить. В этом и заключается наказание за порок скупости».⁷

К сожалению, критик не пояснил последних замечаний. Ведь у Пушкина барон не ограничен в желаниях. В его воле — и пожелать, и выполнить любое из желаний. Другое дело, что ни одно из них он не собирается выполнять, его устраивает сама возможность это сделать. И только. По поводу «сатанинского восторга» барона перед грудями золота и его «патетической речи» Белинский пишет: «...золото — кумир этого человека, он исполнен к нему пиететического чувства, говорит о нем языком благоговения, служит ему, как преданный, усердный жрец! Расточить его наследство, по его мнению, значит: разбить священные сосуды(...) Он смотрит еще на золото, как молодой, пылкий человек на женщину, которую он страстно любит, обладание которою он купил ценою страшного преступления и которая тем дороже ему. Он хотел бы спрятать ее от *недостойных взоров*; его ужасает мысль, чтобы она не принадлежала кому-нибудь после его смерти...»⁸ Замечания Белинского подхватил и по-своему развил Н. М. Минский. «Любовь барона к деньгам, — писал он, — не может быть сведена ни к каким практическим соображениям (как у ростовщика Соломона. — В. В.). Золото не нужно ему ни для чего. Оно для него не средство, ведущее к какой бы то ни было цели, а сама цель (...) предмет культа, граничащего с безумием, в одно и то же время священного и страшно нелепого, смешного.⁹ Скупость, по мнению Н. М. Минского, модернизирующего в духе собственного времени пушкинский текст, «своими корнями уходит в последний трагизм жизни, которым обусловлена несбыточность всех надежд, неустойчивость всякого счастья, неисполнимость всех желаний». Сильные души жадно впиваются в блага жизни «или, что все равно, в золото, на которое они могут быть приобретаемы, но чтобы избежать горечи, скрытой на дне выпитых наслаждений, не касаются чаши губами, а лишь глядят на нее, мечтая о возможном наслаждении. Аскеза и скупость имеют между собой то общее, что та и другая требуют доброволь-

ного отречения, налагают тяжелый зарок и превращают жизнь в длительное искушение». Стараясь вникнуть вслед за Белинским в логику порочной страсти, Н. М. Минский пишет: «... скупой меняет действительность на ее отражение, от реальных вещей обращается к возможным, от счастья к символам счастья. Но отношение к символам у него остается не символическое, не бескорыстно-созерцательное, а прежнее, вожделеющее, воинственное. Он продолжает бороться за добывание благ, которыми не пользуется, — и, таким образом, впадает в нелепое противоречие с самим собой». В этом противоречии начало комизма: «Скупость по существу — страсть трагикомическая, и Пушкин, озаглавив свой этюд трагикомедией, понял этот духовный феномен глубже и вернее, нежели все другие художники, изображавшие скупость, не исключая Мольера, Гоголя, Бальзака».¹⁰

Позднейшие интерпретаторы не касались логики владеющей бароном страсти, оставаясь на уровне соображений, высказанных в монологе пушкинского героя. По их мнению, противоречие заключено не в этой страсти, но в том, что она господствует в душе рыцаря, чьи идеалы, казалось бы, не соединимы с любовью к золоту и стяжательством. «Пушкина интересует, — писал Д. П. Якубович, — последняя вспышка рушащегося феодализма, хватающегося поочередно и за свой старый меч (без которого нет рыцаря. — В. В.) и за золото (которое рыцарю должно быть чуждо. — В. В.).¹¹ Но как раз этой «очередности» нет. Барон держится за золото, не выпуская из рук меча:

Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, владаю в жар и трепет.
Не страх (о нет! кого бояться мне?
При мне мой меч: за злато отвечает
Честной булат)...

В дальнейшем мысль, высказанную Д. П. Якубовичем и заключающую его исследование, повторяли другие ученые (в развернутом виде — Г. А. Гуковский).

Надо сказать, что если скупость барона и противоречит аристократическому рыцарскому идеалу,¹² она отнюдь не противоречит средневековой действительности. Несмотря на то что отвращение к богатству предписывалось сводом рыцарских добродетелей,¹³ «ни одно зло этого времени не поминается чаще корыстолюбия». Оно успешно соперничает и нередко соединяется с феодальной гордыней. Й. Хейзинга пишет: «Гордыню и корыстолюбие можно противопоставить друг другу как грехи прежнего — и нового времени. Гордыня, высокомерие — грех феодальной, иерархической эпохи {...} Ощущение власти еще не основывается исключительно на богатстве; ей придается более личный характер, и, стремясь получить признание, она вынуждена выставлять себя на показ: таковы впечатляющие торжественные выходы лиц, облеченных властью, в сопровождении многочисленной свиты приверженцев, в блеске пышных одежд и дорогих украшений. По средневековым понятиям, „Super-

bia" ["Гордыня"] была истоком и причиной всякого зла; возгордившись, Люцифер положил начало всяческой гибели. Так полагал блаженный Августин, так думали и впоследствии (...) Но в Писании помимо слов, подкрепляющих это мнение: „A superbia initium sumpsit omnis perditio" [«В гордыне погибель» — Тов. 4, 13], имеются и другие: „Radix omnium malorum est cupiditas" [«Корень бо всех зол есть сребролюбие» — 1 Тим. 6, 10]. Так что корень всех зол могли видеть и в алчности (...). И похоже, что преимущественно начиная с XIII в. укрепляется убеждение в том, что именно необузданная алчность ведет к гибели мира, — вытесняя из умов современников представление о гордыне как о первейшем и пагубнейшем из пороков. Прежнее богословское подчеркивание Гордыни заглушается постоянно увеличивающимся хором голосов тех, кто всевозможные бедствия этого времени выводит из бесстыдно возрастающей алчности, — как ни проклинал ее Данте: „La cieca cupidigia!" [«Слепая алчность!»].¹⁴ «Алчность, — поясняет далее исследователь, — порок того периода, когда денежное обращение перемещается, высвобождает предпосылки обретения власти. Человеческое достоинство оценивается теперь путем простого расчета. Открываются доселе невиданные возможности накопления сокровищ и удовлетворения неукротимых желаний. Причем сокровища эти не обрели той призрачной осязаемости, которую придало капиталу современное развитие финансов; это все еще то самое желтое золото, которое прежде всего и возникает в воображении (...) удовлетворение ищут в неистовых крайностях скупости — и расточительства». И затем: «В расточительстве алчность вступает в союз с прежней гордыней. Последняя все еще крепка и живуча (...) тяготение, страсть к роскоши и великолепию, нарядам и украшениям все еще пурпурно-ярки».¹⁵

Но как показывает Пушкин, прямо и косвенно опиравшийся на те же основные источники, что и голландский ученый (литературу западного средневековья), феодальное высокомерие прочнее соединяется с алчностью, обходящейся без «блеска пышных одежд и дорогих украшений», без излишеств, без видимого расточительства, которое, рассчитывая на внешний эффект, скорее, говорит о тщеславии, чем о настоящей, глубокой гордыне: в принципе она довольствуется собственным разумением (ср.: «Я знаю мощь мою: с меня довольно Сего сознанья...») и не нуждается в чужом изумлении, чужой поддержке. Вот почему Белинский не видел противоречия в том, что пушкинский рыцарь одержим скупостью, а Н. М. Минский, например, писал: «Можно быть скупым, не переставая быть рыцарем, — эти два понятия, оказывается, совместимы».¹⁶

Возражая исследователям, разводящим в разные стороны рыцарство барона и его страсть, Н. Н. Скатов обоснованно возвращается к ранним трактовкам и замечает: «Кстати, нет у Пушкина применительно к (...) герою этого: „с одной стороны", „с другой стороны" (...) герой не рыцарь, но скупой и не скупой — но рыцарь. Он — скупой рыцарь, рыцарь скупости, рыцарь денег. Слово рыцарь у Пушкина неизменно имеет точное значение (ср. «Жил на свете

рыцарь бедный»). Это человек служения. Рыцарство — наиболее полная и „бескорыстная“ форма такого служения. Герой Пушкина — человек идеи. Недаром позднее у Достоевского в связи со „Скупым“ появилась фраза. „Выше этого по идее Пушкин ничего не производил!“ Здесь точно схвачено именно значение идеи у Пушкина, в данном случае идеи денег, и служение идее, и утверждение себя в идее, до конца, вплоть до убийства, до самоубийства, до самоуничтожения. Достоевский-то, конечно, должен был понять такой характер отношений человека с идеей.¹⁷

Этот характер отношений заслуживает большей детализации, поскольку значение идеи у Пушкина не вполне совпадает с тем значением, которое идея обычно имеет в произведениях Достоевского. По убеждению Достоевского, господство идеи над человеком — признак новейшего времени, свойство того сознания, которое оторвано от всякой почвы и подвержено всякому ветру, всякому наносному измышлению, оторванному от реальности.¹⁸ Но у Пушкина речь идет о средневековье.

Поэт воспроизводит эпоху, когда «живое чувство бытия» предполагало столь же «живое чувство» пронизывающей это бытие «идейности». Согласно средневековому жизнеощущению, любая реальность представлялась чувственным знаком отвлеченных идей, а отвлеченные идеи воспринимались в реальности чувственных знаков. «Для средневекового сознания, — пишет по этому поводу Й. Хейзинга, — любая вещь была бы бессмыслицей, если бы значение ее исчерпывалось ее непосредственной функцией и ее внешнею формой...»¹⁹ Но каждая вещь так или иначе соотносилась с ее божественным творцом и благодаря этому соотносению наделялась высшим смыслом. «У Бога нет ничего ни пустого, ни лишнего — знаменования (...) Как только Богу придан был представительный образ, все, что от Него исходило и обретало в Нем смысл, должно было также сгуститься, кристаллизироваться в сформулированных идеях. Так возникает этот благородный и величественный образ мира, который представляется единой огромной символической системой, собором идей, богатейшим ритмическим и полифонным выражением всего, что можно помыслить».²⁰ Отсюда заинтересованное, напряженно-страстное внимание к вещам, всегда наделенным или явной, или скрытой духовностью, и к отвлеченной духовности, понятиям и идеям, никогда не теряющим связи с плотью живых вещей. Так, св. Франциск (XII—XIII вв.), избрав своей дамой Нищету, видит ее в женском обличье. Испрашивая покровительства и ей, и себе, ее рыцарю, он молит у Бога милости, которая подняла бы Нищету из грязи и бесчестия на пьедестал, приличный царственному блеску ее достоинств: «Господи, смилуйся надо мной и госпожой Нищетою. Вот она сидит на навозе, она, царица всех добродетелей; она жалуется, что ее друзья ее презрели и стали ее врагами...» и т. д.²¹

Отношение пушкинского героя к накопленному сокровищу — отношение и к идее, и к ее конкретному воплощению. Барон произносит «патетическую речь» перед сундуками с золотом, но он

не мог бы ее произнести перед горами заменяющих золото медяков или бумажных денег, даже если бы они занимали весь подвал. В отличие от св. Франциска (но в русле общих устремлений времени) барон испытывает страсть не к Нищете, а к Богатству, в пыли и темноте подвала сверкающему для него «волшебным блеском». Традиционный мотив, восходящий к Плавту и уподобляющий отношение скупца к сокровищу самой пылкой любовной страсти, здесь оборачивается отношением рыцаря к своей Даме. Характер чувства, испытываемого героем, целиком принадлежит феодальной, обреченной на гибель эпохе, тогда как предмет этого чувства знаменательно намекает на европейское будущее. Парадокс, следовательно, не в том, что герой Пушкина любит Богатство (его любят если не все, то многие, иначе не было бы ни нужды, ни заслуги в демонстративной манифестации св. Франциска, защищающего честь Нищеты в укор общему презрению), парадокс в том, что барон Филипп питает к своему сокровищу рыцарски возвышенную, рыцарски исключительную страсть. Именно в этом источник и трагедии, и комизма. Эта исключительная страсть поднимает предмет молитвенного благоговения на такую высоту, которая не допускает и мысли о возможном соперничестве, низводя любой иной выбор на степень жалкого заблуждения и любую иную ценность, иной объект предпочтения до состояния пошлого ничтожества:

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный к верным сундукам.

В самом деле: всякая земная страсть зависит от прихоти изменчивого чувства, способного и обмануть, и быть обманутым. Но связь скупца с золотом не грозит оскорбительным обманом, ведь для того, чтобы она была постоянной, скупцу достаточно быть верным самому себе, поскольку верность сундуков обеспечена их полной бездушностью.

Любовь барона к золоту разделяют другие. Одно это, казалось бы, подтверждает правильность сделанного выбора. Ср. у Шекспира в «Тимоне Афинском», в произведении, которое среди многих других Пушкин, как ясно, учитывал при работе над собственной драмой:

Смотрите,
Как магия богатства всемогуща!
Оно любую душу в плен берет
И заставляет всех служить себе.²²

Но служба, как и любовь, бывает разной. Далеко не всегда она делает честь влюбленному или любимому. Поэтому так же, как всякий иной выбор, на взгляд барона, — заблуждение, всякое иное отношение к золоту, отличающееся от его собственного, — лишь кощунственная профанация высоких чувств, взыскуемых возвышенным предметом. Обилие соперников воспламеняет рвение, не умаляя

исключительности страсти. «Да будет тебе известно, — объясняет Дон Кихот оруженосцу отношение рыцаря к своей избраннице, — что по нашим рыцарским понятиям это великая для дамы честь, когда ей служит не один, а много (...) рыцарей и когда они мечтают единственно о том, чтобы служить ей ради нее самой, не ожидая иной награды за все свои благие намерения, кроме ее соизволения принять их в число своих рыцарей.

— Подобного рода любовью должно любить Господа Бога (...) — сказал Санчо, — любить ради него самого, не надеясь на воздаяние и не из страха быть наказанным. Хотя, впрочем, я-то предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь».²³ Именно так, как пристало истинному рыцарю и верному вассалу, любит золото барон Филипп:

О! мой отец не слуг и не друзей
В них (деньгах. — В. В.) видит, а господ; и сам им служит.
И как же служит? как алжирский раб,
Как пес цепной.

Но раб служит господину из страха и корысти, а самоотверженность пса лишена разума, между тем преданность барона своему кумиру, какой бы безграничной она ни была, вполне сознательна и не знает принуждения, она свободна. Ведь никакие цепи не привязывают рыцаря к его сокровищу, за исключением тех, которые он добровольно налагает на себя сам. Поэтому чем больше его самоотречение, тем больше в этом отречении заслуги. И обязательная вассальная повинность барону не обременительна, исполнить ее — значит использовать удачный случай доказать свою способность и право оставаться верным рыцарем сокровища и дальше:

Счастливей день! могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.
Не много, кажется, но понемногу
Сокровища растут.

По мере роста сокровищ растет их тайная сила. Это могучая сила золота, власть денег:

Читал я где-то,
Что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу,
И гордый холм возвысился — и царь
Мог с вышины с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.
Так я, по горсти бедной принося
Привычну дань мою сюда в подвал,
Взнес мой холм — и с высоты его
Могу взирать на все, что мне подвластно.
Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу...

Комментируя строки о царе, Д. П. Якубович писал: «Что касается до упомянутого в стихах 10—16 сцены II эпизода о царе (...) то

здесь имеется в виду легенда, идущая от Геродота, о Дарии и Ксерксе. У позднейших путешественников (Стрейс, Олеарий) она приурочивалась к России (указания М. Альтмана и А. Морозова). Подобное предание Пушкин позже привел и в изданных им „Записках Моро де Бразе”.²⁴ Из названных источников и параллелей наиболее важен Геродот: «позднейшие путешественники» и «Записки...», варьируя Геродота, довольно далеко отступают от того, что сказано у древнего историка и в пушкинском тексте. Слова барона повторяют мотивы рассказа Геродота о Ксерксе (сходное предание о Дарии уже у Геродота играет подчиненную роль). Суть в следующем. Задумав покорить Элладу, персидский царь, чтобы облегчить движение своего огромного войска, решил прорыть канал через Афонский перешеек и построить мосты через Геллеспонт. Когда работы были закончены, Ксеркс двинулся в путь. «Дойдя до Абидоса, Ксеркс пожелал произвести смотр своему войску. Для этого уже раньше нарочно был воздвигнут здесь на холме трон из белого мрамора (...) Там царь восседал, сверху вниз глядя на берег, обозревая войско и корабли. После смотра он пожелал видеть морскую битву (...) Увидев, что весь Геллеспонт целиком покрыт кораблями и все побережье и абидосская равнина кишат людьми, Ксеркс возрадовался своему счастью, а затем пролил слезы». Царь пожалел все это множество людей, из которых «никого уже через сто лет не будет в живых».²⁵ Если бы царь знал роковой исход предпринятого им похода, он мог бы пролить более обильные слезы, ведь большинство из тех, кого он видел внизу, на море и равнине, расстались с жизнью гораздо раньше. Царь мог бы пожалеть и себя. Рассказ о строительстве канала, разъединившего то, что соединено природой, и мостов, соединивших то, что ею разъединено, и неудачном походе на Элладу Геродот ставит в связь с волею богов, не терпящих человеческой гордыни, с насмешливым и неумолимым роком, поднимающим людей к вершинам могущества и славы лишь затем, чтобы оттуда их низвергнуть. Опасение божественного возмездия заставляет одного из советников Ксеркса, Артабана, отговаривать царя от похода: «Ты видишь, как перуны божества поражают стремящиеся ввысь живые существа, не позволяя им возвышаться в своем высокомерии над другими. Малые же создания вовсе не возбуждают зависти божества. Ты видишь, как бог мечет свои перуны в самые высокие дома и деревья. Ведь божество все великое обыкновенно повергает в прах. Так же и малое войско может сокрушить великое (...) Ведь не терпит божество, чтобы кто-либо другой, кроме него самого, высоко мнил о себе».²⁶ Но предупреждения Артабана не в состоянии предотвратить решения всемогущей Судьбы. Явившийся во сне Артабану призрак сурово осуждает его усилия спасти царя: «Ты не останешься безнаказанным ни в будущем, ни теперь за то, что тщишься отвратить веление рока».²⁷ Оно осуществляется со всею неизбежностью вопреки и надменным надеждам, и осторожным опасениям смертных.

Соотносящиеся с Геродотом рассказы, не совпадая с ним в конкретных мотивах, удерживают главную мысль. Они повествуют о

сооруженном руками воинов холме не как величественном подножии для царского трона, но как погребальном кургане, насыпанном над царской могилой.²⁸ Лишь высота поднятого вверх праха свидетельствует о былом величии и одновременно — о суетных притязаниях умершего властителя, чье имя будто в насмешку искажено или вовсе стерлось в памяти потомков. Например, у Олеария говорится: «27-го с. м. мы с левой стороны недалеко от берега увидели голый песчаный холм, лежащий в плоской равнине. Называли его Царев курган. Нам рассказали, что в нем похоронен татарский государь по имени Момаон (Мамай?), который с 7 царями из Татарии собирался пойти вверх по Волге и опустошить всю Россию, но помер в этом месте и погребен здесь. Рассказывают, что солдаты его, которых было бесчисленное количество, шлемами и щитами собрали столько земли для погребения, что возникла эта гора. Это известие П[ауль] Ф[леминг] изложил в следующих строках с прекрасным заключительным изречением:

Песчаный холм, едва дающий тощим травам,
Чем корни укрепить, блестящею главой
Своей возносится один в степи пустой.
Мамаон в нем лежит. Когда семи державам
Законы он давал, стремился пылким нравом
Рутению себе он покорить войной...
Теперь безмолвно здесь стоит курган степной,
А хан забыт. Конец воинственным забавам!
О суета сует. Так вот каков удел
Столь многих тысяч! Он зачем же так хотел
Все покорить себе, так всех пожрать стремился!
Орда кишела здесь. Теперь тут все молчит.
Не то же ль вообще история гласит:
Забвенье ждет нас всех, как кто бы ни кичился».²⁹

И у Геродота, и у авторов, более или менее зависящих от его рассказов, речь идет в первую очередь о царском могуществе — могуществе державного правителя, государя. И, как само собой разумеющееся, — о всякой иной человеческой гордыне.

Нужно, однако, назвать еще один источник, восходящий к тому же Геродоту, но увязывающий мысль о бренности земного величия с могуществом золота, силой богатства. Это аллегорический сюжет в первой сцене драмы Шекспира «Тимон Афинский». Его излагает поэт, один из гостей богатого Тимона, в ожидании выхода вельможи другому гостю, художнику, тоже принесшему на одобрение богачу произведение своего искусства:

Поэт

Так вот: изобразил я холм высокий,
Где трон стоит, на троне том — Фортуна;
Внизу толпится множество людей
Различных свойств, происхождения, званья (...)
Меж тех,
Кто на богиню устремил глаза,
Один с Тимоном схож. Манит Фортуна
Его к себе рукою белоснежной,

И эта милость превращает сразу
Соперников его в его рабов.

Живописец

Как верно найдено! Я представляю,
Что холм, Фортуна, трон и человек,
Отмеченный из всех внизу стоящих
И наклонивший голову, чтоб легче
Наверх взобраться по крутому склону
Навстречу счастью, — могут стать сюжетом
И моего искусства.

Поэт

Я продолжу...

Так слушайте: все равные ему,
И даже те, кто выше был, бегут
Теперь за ним, в его теснятся доме,
Ему благоговейно в уши шепчут,
Все в нем боготворят — вплоть до стремян,
И только им и дышат...

Живописец

Что же дальше?

Поэт

Внезапно своенравная Фортуна
Толкает вниз недавнего любимца,
И тот, кто вслед карабкался за ним
И полз с трудом, почти на четвереньках,
Дает ему скатиться; не поддержит
Его никто.

Живописец

Обычное явление...

Я мог бы вам назвать картин немало,
Где следствия таких причуд Фортуны
Показаны ясней, чем на словах.
Но мудро вы напомнили Тимону,
Что люди низкие уже не раз
Падение великих наблюдали.³⁰

Герой Пушкина не думает ни о каком падении. В отличие от Тимона, сначала из любви, потом из ненависти к людям расточающего случайно доставшееся ему богатство, барон Филипп постоянно приумножает свое сокровище. Оно дает ему власть, не подверженную, как кажется, никаким колебаниям Фортуны: ведь для того, чтобы счастье оставалось при нем, достаточно, чтобы при нем оставалось его богатство:

Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу;
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смирненно будут ждать моей награды.

Эти несколько строк вкратце передают содержание первой сцены шекспировского «Тимона» («Афины. Зал в доме Тимона. Входят в разные двери поэт, живописец, ювелир, купец и другие»).³¹ Но то, что у Шекспира представлено как реальность (пестрая толпа гостей и резвых «нимф», замороженных «магией богатства», ждущих и получающих щедрую награду), в монологе барона не выходит за пределы мыслимой возможности. Ср. далее:

Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне все послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья... (*Смотрит на свое золото.*)

Тимон Шекспира богат, но не скупой. Для него, как и для его литературного предшественника, Тимона Лукиана, деньги сами по себе не имеют большой цены. Герои пользуются ими как средством сначала во благо людям, затем, убедившись в людской испорченности и коварстве, — им во вред. Тимон Шекспира, после разорения вновь обретя богатство, продолжает раздавать деньги (он не сомневается, что они сделают свое злое дело); Тимон Лукиана в сходной ситуации удерживает золото при себе.³² Но и он гораздо более занят своими отношениями с людьми, чем с богатством. В законе, предписанном героем Лукиана самому себе, сказано: «Пусть Тимон один богатеет, презирует всех и пользуется один своей роскошью, приносит жертвы и пирует в одиночестве, пусть будет сам себе сосед и смежник, отбросив от себя других людей (...) Пусть будет у меня имя, приятнейшее из всех имен — Мизантроп — Человеконенавистник, а отличительными чертами поведения — мрачность, суровость, грубость, злость и нелюдимость. Если я увижу погибающего в огне и умоляющего потушить пожар, смолой и маслом буду тушить. А если кого-нибудь зимой унесет река и он, простирая руки, станет просить вытащить его, я оттолкну его и окуну с головой, чтобы он не мог больше вынырнуть. Это он получил бы по заслугам. Внес закон Тимон, сын Эхекратида, из Колитта, голосовал в собрании упомянутый Тимон».³³

Для героя Пушкина ненависть (или любовь) — одно из многих чувств и потребностей, которые можно утолить благодаря деньгам. По убеждению барона, власть и сила золота как раз и заключены в его безграничных возможностях. Если предмет любой иной страсти способен удовлетворить только ее, то золото способно удовлетворить всякую страсть или даже все страсти — лишь бы оно было в избытке.³⁴ Имея такие возможности и такую универсальную способность, золото привлекает всех: и нищего, для которого единственный золотой — целое сокровище, и скупого богача, для которого при любом сокровище не будет лишним ни один золотой. Ведь если с него и начинается «куча», то кто скажет, где она кончается?³⁵ Барон наполняет золотом шестой сундук, но, разумеется, у него нет

никаких причин на этом сундуке остановиться. Чем выше холм, тем серьезнее повод видеть в нем основание трона, и в данном случае одно так тесно связано с другим, что без основания нет и трона. Ведь размеры власти здесь определяются размерами богатства — величиной и высотой холма, служащего ее опорой и вместе с тем внушительным удостоверением ее притязаний и прав. Поскольку возможности золота удовлетворить и нужды, и желания в принципе ничем не ограничены, ничем не ограничена и его власть.

Сознавая могущество золота и будучи верным рыцарем богатства, герой и должен, и готов (по убеждению и чувству) служить вящей чести и славе его. Для того чтобы они воссияли в реальном, поистине «волшебном блеске», необходимо, чтобы холм, несущий ввысь подножье трона, вобрал в себя все золото, все деньги мира. Ведь раздробленное сокровище теряет полноту своих возможностей. И разделенная власть, власть, так или иначе ущемленная чужими правами и притязаниями, даруемыми каждым червонцем, перестает быть абсолютной властью. Честь и слава богатства требуют, чтобы полноте таящейся в нем мощи соответствовала полнота неограниченного, безусловного господства. Поэтому никакая нужда и никакое желание, на взгляд барона, не могут оправдать чужую попытку удержать или присвоить себе хотя бы один золотой. Ведь она не что иное, как покушение на царское достоинство кумира, которому ревностно служит барон. Но, таким образом, мощь золота, постепенно умножающегося в одних руках, означает и оскудение многих. Счастье, испытываемое бароном от каждой горсти и сокровища в целом, означает несчастье всех, кого эта горсть и это сокровище лишают возможности удовлетворить самые необходимые нужды и самые естественные желания. Абсолютная власть, неограниченное право одного и здесь покоятся на бесправии прочих. Честь и слава богатства (и богача, не отделяющего себя от собственного богатства) — позор и бесчестье его униженных подданных. Это оборотная сторона блестящей золотой монеты — мрачная сторона, так же органично присущая золоту, как и блеск. Она введена в монолог героя с помощью хиазма. Вначале:

*Не много, кажется, но понемногу
Сокровища растут (...)*

Затем:

(Смотрит на свое золото.)

И далее:

*Кажется, не много, —
А скольких человеческих забот,
Обманов, слез, молений и проклятий
Оно тяжеловесный представитель!*

*Тут есть дублон старинный... вот он. Нынче
Вдова мне отдала его, но прежде
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях воя.
Шел дождь, и перестал, и вновь пошел,*

Притворщица не трогалась; я мог бы
Ее прогнать, но что-то мне шептало,
Что мужнин долг она мне принесла
И не захочет завтра быть в тюрьме.
А этот? этот мне принес Тибо —
Где было взять ему, ленивцу, плуту?
Украл, конечно; или, может быть,
Там на большой дороге, ночью, в роще...

Наконец — в виде итога и обобщения:

Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В моих подвалах верных.

Следовательно, как бы ни был велик холм, поднимающий над миром власть богатства, он тонет в незримом, но еще большем море пота, крови, слез, проливаемых людьми за каждую копейку. Ведь если для скупца горсть золота — не слишком заметная прибавка в сравнении с тем, что он уже имеет и приобретет еще («горсть бедная»), то каждый дублон в этой горсти — чья-то му́ка, чье-то достояние, равное целой жизни (ср. сказанное о вдове с тремя детьми). Власть золота растет за счет увеличения страданий, за счет греха и преступления — в полном противоречии с нравственными заповедями христианства: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду (...) А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду (...) Итак, если ты принесешь дар свой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдй, прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Евангелие от Матфея. Гл. 5. Ст. 21—24). Но «дары», которые скупой барон, как преданный вассал, приносит своему кумиру, запятнаны не просто чужой обидой, а именно преступленьем. Поскольку барон это сознает, и горсть золота в его руках — непременно материализация чьей-то му́ки, он, принося «привычну дань», ощущает наслаждение, знакомое лишь закоренелому убийце:

Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет.
Не страх (о, нет! кого бояться мне?
При мне мой меч: за злато отвечает
Честной булат), но сердце мне теснит
Какое-то неведомое чувство...
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.

Дань, которую платит скупой барон, — и подать **верного вассала**, и жреческая служба демону, золотому тельцу, **требующему челове-**

ческих жертвоприношений. Не подвиг доблести и добродетели в защиту слабых и угнетенных, а преступление против них здесь оказывается высшим проявлением рыцарского долга.³⁶ Так что если любовь к Даме, принятую в рыцарском обыкновении, можно уподобить благочестивому чувству к Богу, то любовь барона — нечестивое поклонение идолу, чье сверкающее обличье прячет от неискушенных глаз его злобную сущность. Барон о ней знает: как испытанный, надежный слуга, как жрец, он посвящен в некоторые тайны своего кумира. И это знание ничего не меняет. Герой отправляет свою греховную службу ночью, в глубине подвала, скрываясь от всех, но с полным убеждением в необходимости и святости приятного ему и страшного ритуала. Его идол тучнеет, напоенный слезами, потом, кровью новых и новых жертв. Он пожирает все, одобренное такой приправой. Но в конце концов эти слезы и эта кровь сплошь и рядом проливаются людьми по ничтожным причинам, не имеющим отношения к богатству, а потому и не заслуживающим извинений (ведь любая страсть, помимо страсти к золоту, на взгляд барона, не имеет оправданий). Здесь же дело обстоит иначе. И если рыцарь обычно предан своей Даме (что бы в действительности она собой ни представляла) все-таки за ее совершенство (ср. Дон Кихот), то страстная преданность барона своему кумиру настолько беспредельна, что она не просто извиняет его порочность, но боготворит и самый порок:

(Отпирает сундук.)

Вот мое блаженство!

(Высыпает деньги.)

Ступайте, полно вам по свету рыскать,
Служа страстям и нуждам человека.
Усните здесь сном силы и покоя,
Как боги спят в глубоких небесах...
Хочу себе сегодня пир устроить:
Зажгу свечу пред каждым сундуком,
И все их отопру, и стану сам
Средь них глядеть на блещущие груды.

(Зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим.)

Жертвоприношение идолу и пир, устроенный себе бароном, — центральная часть второй сцены, а вместе с тем и всей драмы. В противоположность герою Лукиана, который «приносит жертвы и пирует в одиночестве» ради всеми признаваемых богов, герой Пушкина делает то же самое исключительно ради богатства — им самим (и пока только им) освященного и пред собой воздвигнутого кумира. На этом пире, где барон — и господин, и слуга; хозяин и гость; «сосед и смежник» тому, кто приглашен, и тому, кто приглашает; тому, кто чествует и славит, и тому, кого славят и чествуют, герой испытывает все разнообразие возможных чувств, все блаженство, которое вообще способно доставить богатство:

Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастье, в ней честь моя и слава!

Это восторженный возглас жреца, обращенный к могущественному божеству. Непризнанное, отвергнутое, осужденное и светской властью, и с церковных амвонов, оно реально правит миром, в то время как другие боги, каковы бы они ни были, только «спят».

Мотив сна богов восходит к Лукиану. Его Тимон, разорившись и увидев неблагодарность тех, на кого ушло его богатство, взывает к небесам. Он обвиняет Зевса в бездействии, в забвении своих обязанностей: «... твое прославленное, далекоразящее и послушное оружие потухло и охладело (...) и не сохранило даже малейшей искры гнева против неправедных». Состарившись, Зевс потерял остроту зрения и слуха, не вникает в то, что происходит на земле среди людей, и не заботится о наказании злодеев. Он спит: «Ведь ты спишь, словно под влиянием мандрагоры, не слыша ложных клятв и не следя за несправедливыми; ты страдаешь глазами, слепнешь, не различая происходящего перед тобою, и оглох, точно старик».³⁷ Между тем в молодости Зевс уничтожил потопом род нечестивых людей, оставив лишь немногих для нового поколения («еще худшего, чем первое»)³⁸ «Пора, наконец, сын Крона и Реи, — заключает свои жалобы и обвинения Тимон, — стряхнуть с себя глубокий и неприятный сон: ведь ты переспал даже Эпименида; раздуй свой перун или зажги его от Этны и, добыв великое пламя, яви гнев мужественного и юного Зевса...»³⁹ С трудом расслышав долгие и громкие крики Тимона, Зевс приходит ему на помощь: он посылает Тимону сокровище и таким образом наказывает его обидчиков. У Лукиана боги спят от старческого бессилия, они давно не вмешиваются в дела людей и не беспокоятся о справедливости.

У Шекспира лукиановский мотив звучит мельком в далеком от источника, преображенном виде. Его герой, вновь получив сокровище, вершит суд и в праведном негодовании карает и людей, и золото, часть которого, не пошедшую на раздачу, он опять закапывает в землю:

О, я знаю,

Что этот желтый раб начнет немедленно
И связывать и расторгать обеты;
Благословлять, что проклято; проказу,
Заставит обожать, возвысит вора,
Ему даст титул и почет всеобщий
И на скамью сенаторов посадит.
Увядшим вдовам жениха отыщет!
Разъеденная язвами блудница,
Та, от которой даже сами стены
Больничные бы отшатнулись, — станет
Цветущей, свежей и благоуханной,
Как майский день. Металл проклятый, прочь!
Ты шлюха человечества, причина
Вражды людской и войн кровопролитных,
Лежи в земле, в своем законном месте!
Я вновь тебя зарю глубоко (...)

— А ты живуче,

Но все же я похороню тебя!

И затем:

Тимон
...передай, что у меня
Есть золото. Ты видишь — вот оно.

Апемант
Какой же смысл в нем здесь?

Тимон
Большой и важный!
Оно тут спит и злу не служит.⁴⁰

Герой Шекспира, обвиняя деньги, приговаривает их к бессилию сна. Он наказывает за зло само богатство.

Герой Пушкина движим другими убеждениями, и вечный сон, в который он погружает запертое в подвале сокровище, — не наказание, а награда:

Ступайте, полно вам по свету рыскать,
Служа страстям и нуждам человека.
Усните здесь сном силы и покоя,
Как боги спят в глубоких небесах...

Сила и покой бестревожного блаженства — единственное, чего, по мнению барона, не хватает его кумиру, чтобы вполне сравняться с могуществом горних богов. Для возмещения этой нехватки золоту следует только уснуть. Награждая свое сокровище блаженством сна, герой делает то немнoгое, что остается сделать поклоннику и жрецу, дабы честь и слава поруганного божества, этой униженной и оскорбленной невинности (ср. обвинения шекспировского Тимона), не знала никакого ущерба.

В действительности барон заботится не о равенстве, но о превосходстве. Ведь успокоившись в блаженном сне, деньги в отличие от обитателей светлых высей правили и правят в реальном мире. В любой момент по любому призыву (нужды или страсти) они могут явить себя в действии, подтверждающем их господство. И если попечение высших сил о справедливости (т. е. наказании порока, торжестве красоты, ума, таланта, добродетели) так же мало заметно на земле, как и их присутствие, то справедливость, с какою правят деньги, видна всем. Она уравнивает красоту, безобразие, умы, таланты, пороки, добродетели и вызванные ими желания единой мерой — мерой отпущенного каждому богатства. Кому-то это может показаться злой насмешкой над самим понятием справедливости, наглым произволом, но, скорее всего, — тому, у кого нет денег. Да и трудно говорить о произволе там, где очевидна строгая закономерность: за каждым признается ровно столько любых и всяких достоинств, сколько он имеет денег. Пожалуй, как раз в отступлении от этой закономерности можно усмотреть произвол, ничем не обоснованную претензию. Но достоинства барона неоспоримы. Его сокровище так велико, что повергает к подножию его трона целый мир. Находясь на этой высоте, герой, разумеется, не нуждается ни в каких богах, кроме своего кумира, и ни в какой

власти, кроме той, которой обладает сам. Поднимаясь вверх и распространяясь вширь, этот кумир на самом деле не уравнивается с другими, но вытесняет других богов, не оставляя им места ни в земных, ни в небесных пределах, а даруемое им царство и держава упраздняют любую власть, не освященную благословением богатства. Скупой рыцарь признает в сущности только одно божество — золото, и только одно господство — господство денег. К этому и сводится для скупца Символ веры. Ср.: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (богатству)» (Евангелие от Матфея. Гл. 6. Ст. 24).

Но какой бы ни была сила денег, она не избавляет от смерти. Поэтому, наслаждаясь настоящим, герой не может не думать о будущем:

Я царствую... но кто вослед за мной
Примет власть над нею (державой. — В. В.)? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой,
Развратников разгульных собеседник!
Едва умру, он, он! сойдет сюда
Под эти мирные, немые своды
С толпой ласкателей, придворных жадных.
Украд ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрет,
И потекут сокровища мои
И потекут диравые карманы.
В атласные диравые карманы.
Он разобьет священные сосуды,
Он грязь елеем царским напоит —
Он расточит... А по какому праву?

Ничто не угрожает сокровищу и его владельцу, пока жив барон: ни гнев небес (потому что «боги спят»), ни алчность людей (потому что вооруженный рыцарским мечом барон не дремлет). Любое незаконное посягательство на его счастье, честь и славу, а вместе с тем на честь и славу богатства герой готов отразить силой. Единственный (и, как ни странно, естественный) враг барона — его родной сын, законный, но расточительный наследник. Предпочитая другие блага жизни, он не знает истинной цены деньгам и видит в них только средство для удовлетворения своих нужд и мимолетных желаний. И хотя на стороне Альбера законы божеские и человеческие и никто не может оспорить его наследственных прав, барон не признает этих прав за сыном. Как абсолютный монарх, вольный миловать и казнить по собственному усмотрению, как жрец, заинтересованный в поддержании и укреплении культа, барон не должен, да и не в праве, доверить власть тому, кто не посвящен ни в таинства державного правления, ни в таинства священных ритуалов. Ведь наследство, которое «рано ль, поздно ль» скупой рыцарь вынужден будет оставить сыну и которое для наследника — лишь груды золота, готовые к его услугам, соединяет государственную мощь с мощью верховного священства, поскольку трон, поднятый бароном на вершину холма, венчает и здание земного царства, и храм — где он ревностно и усердно служит. Но сыну не под силу

бремя двойной власти, означающей двойную ответственность. Он не может быть ни самодержавным монархом, ни тем более — жрецом. В качестве монарха он станет жалкой игрушкой в руках лстивых и жадных придворных, в качестве жреца — он хуже простодушного, туповатого прихожанина, хотя и не знающего всех тайн религиозной службы, но не сомневающегося в их глубочайшей серьезности. Он превратит святилище в вертеп разврата, священнодействие заменит святотатством. Разбивая камень за камнем и распыляя горсть за горстью, он может лишь разрушить здание и уничтожить храм, воздвигнутый самоотверженными усилиями отца:

Он расточит... А по какому праву?

Мне разве даром это все досталось,

Или шутя, как игроку, который

Гремит костями да груды загребают?

Кто знает, сколько горьких воздержаний,

Обузданных страстей, тяжелых дум,

Дневных забот, ночей бессонных мне

Все это стоило? Иль скажет сын,

Что сердце у меня обросло мохом,

Что я не знал желаний, что меня

И совесть никогда не грызла, совесть,

Когтистый зверь, скребуший сердце, совесть,

Незванный гость, докучный собеседник,

Займодавец грубый, эта ведьма,

От коей меркнет месяц и могилы

Смушаются и мертвых высылают?..

Сокровище, которое Альберу должно достаться по праву рождения (т. е. случайно, даром), барону Филиппу стоило трудов и страданий — и собственных, и чужих. Он пожертвовал богатству все, что можно было пожертвовать, и даже больше, чем следует. Отсюда угрызения совести. Они растут вместе с золотом. Вначале совесть — «когтистый зверь», не рвущий на части, но лишь «скребуший сердце» (как мышь); затем ее грызня становится досадной и тяжелой докукой, от которой невозможно отмахнуться и некуда уйти; затем ее назойливые упреки переходят в грубые требования расплаты — прекращения проволочек и возмещения долгов; наконец, она оборачивается разъяренной ведьмой, не оставляющей должнику малейшего проблеска света и погружающей его в непроницаемую тьму мучительной ночи. Ее мрак настолько не отличается от мрака могилы, настолько сливается с ним, что между жизнью и смертью стирается всякая грань и мертвецы, переступив положенную им черту, вплотную подступают к живым. Так кажется скупцу. В действительности и так, и несколько иначе: глухая тьма, окутывающая встревоженную, смущенную душу, высылает ее, еще живую, к мертвым теням. Ведь не будучи игроком и загребая те же золотые груды, барон не с меньшей страстью, чем игрок, но без всяких шуток, гремит отнюдь не игральными костями. Муки совести усиливаются по мере увеличения дани (греха и преступления), которую привычно взымает богатство.⁴¹ В результате барон платит за свою страсть собственной кровью, умножая тем самым общее

число приносимых сокровищу жертв и особую цену каждого отдельного червонца: переходя из рук в руки, они от пролитых крови, пота, слез становятся все более и более тяжеловесны:

Нет, выстрадай сперва себе богатство,
А там посмотрим, станет ли несчастный
То расточать, что кровью приобрел.

Барон убежден, что любой расточитель, как бы он ни был безумен (а расточительство для скупого — уже безумство), заплатив богатству положенную дань, немедленно придет в себя и поумнеет.

Разумеется, свою кровь, которая, несмотря ни на какие муки, едва ли составляет заметную каплю в море, барон ценит гораздо дороже, чем чужую, хотя и та и эта освящают воздвигнутое рыцарем здание, весь храм — от основания до вершины. В самом деле, лишь благодаря стараниям барона, его неустанной и верной службе и оказалось возможным такое величественное сооружение, которое вполне соответствует реальному достоинству золота, его здешней и нездешней силе. Понятно, что не Альберу, этому разрушителю и святотатцу, скупой рыцарь должен был бы передать ключи, открывающие вход и в царствие, и в царство. Поэтому сын, собирающийся овладеть этими ключами по праву законного наследства, в действительности их может только украсть. А так как он тотчас начнет расточать сокровище, в которое отец вложил жизнь и душу, то он не только вор, но и убийца. Ведь уже и теперь, как легко догадаться, он жаждет смерти отца — устранения единственной преграды на пути осуществления своих «безумных» желаний:

Едва умру, он, он! сойдет сюда
Под эти мирные, немые своды

Укрыв ключи у трупa моего,
Он сундуки со смехом отперет,
И потекут сокровища мои...

Ключи, которые не выпускает из рук скупой рыцарь, знаменуют в его глазах обе власти, заменяя и царский скипетр, и ритуальный жреческий нож. С подобными предметами безнаказанно не шутят. Между тем в глазах Альбера они ничего не знаменуют. Поэтому, принадлежа отцу, золото обнаруживает всю крепость неколебимой, высоко держащей трон постройки, а принадлежа сыну, оно обнаружит всю слабость текучей влаги, лишенной оберегающих ее границ и не способной не только что бы то ни было держать, но и держаться: смешавшись с грязью, оно уйдет в земные недра:

Он разобьет священные сосуды,
Он грязь елеем царским напоит —
Он расточит...

Но если наследства барона недостойн родной сын, то его недостойн и никто вообще. Ведь ни один претендент на высокий трон, откуда бы он ни взялся, не имеет заслуг, равных заслугам барона: рыцарь начал насыпать холм и возводить здание с первой

горсти и отдал своему творению решительно все, что можно (и нельзя) отдать:

О, если б мог от взоров недостойных
Я скрыть подвал! о, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне!..

Заключительные слова монолога — самое сильное выражение любви и верности барона, предпочитающего золото всем ценностям и этой жизни, и будущей. Никто недостойн, по убеждению героя, заступить на его место, занять высокий трон, и никто не вправе разлучить его с предметом страсти ни здесь, ни там, в загробном мире. Рыцарь не нуждается в ином блаженстве, кроме того, которое ему уже известно (ведь оно с лихвой искупает любые муки), и в ином бессмертии, кроме того, которое могло бы по-прежнему удерживать его вблизи богатства. Барона устраивает вечность, сохраняющая ему status quo в смиреннейшей роли, остающейся ему за невозможностью любой другой, — в роли бессонного и бдительного стража при сокровище, мирно почившем в божественно-безмятежном сне. Не будучи способным и дальше возносить свой холм, барон хотел бы быть и дальше хранителем накопленного: в конце концов для чести и славы кумира (следовательно, для чести и славы его рыцаря и жреца) хватает и того, что есть. В этой ситуации ясно, что собственная смерть не так страшна герою, как расточение богатства. Иначе и не должно быть при отношениях, привязывающих рыцаря к блестящим грудам (ведь не он их, а они его наделяют силой). И если бы знал, что его ждет та вечность, которая навсегда соединит его с его сокровищем, он мог бы покинуть этот мир без промедленья, с глубоким сознанием исполненного долга — себе предписанных и на себя возложенных обетов. Но гибель богатства — действительно непоправимое горе. Оно несет бесчестье кумиру, а его жрецу, его слуге — еще и утрату всех благ не только этой жизни, но и будущей, поскольку бессмертие, отлучающее героя от его сундуков, какое бы счастье в принципе оно ни сулило, не имеет для рыцаря никакой цены. Следовательно, никакое наказание ни в этом веке, ни в ином не может сравниться в глазах барона со скорбью такой потери. Именно поэтому в разговоре с герцогом (третья сцена) барон, обвиняя сына, говорит сначала об убийстве, затем об ограблении:

Барон.

Он... он меня

Хотел убить.

Герцог.

Убить! так я суду
Его предам, как черного злодея.

Барон.

Доказывать не стану я, хоть знаю,

Что точно смерти жаждет он моей,
Хоть знаю то, что покушался он
Меня...

Герцог.

Что?

Барон.

Обокрасть.

(Альбер бросается в комнату.)

Если желание смерти отца равносильно покушению на убийство, то желание овладеть наследством равносильно покушению на ограбление. И в разговоре с самим собой (монолог в подвале), и в разговоре с герцогом мысль об ограблении следует за мыслью об убийстве (смерти). Помимо градации обвинений⁴² это означает, что ни одного золотого из сундуков барона Альбер не может получить иначе как через труп отца. А если бы все зависело только от воли и желания их нынешнего владельца, то Альбер не должен был бы получить ни одного золотого и после смерти барона. Безусловно, старик надеется как раз на такой исход. Не будь этой надежды, не было бы никакого смысла в беспощадном самоограничении и тяжелых испытаниях, которым подвергает себя барон, ведь несчастная судьба его сокровища, окажись оно в руках расточительного сына, ему известна заранее. Между тем ни в одном слове, ни в одном движении героя не скользит мысли о том, что сейчас или в дальнейшем он собирается облегчить себе бремя изнурительных забот и суровой аскезы. Это значит, что заключительное восклицание барона:

О, если б мог от взоров недостойных
Я скрыть подвал! о, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне!.. —

не просто страстная мечта, а молитва. Она завершает монолог. Вслед за хвалой золоту, ритуальным жертвоприношением, обличением законного, но недостойного преемника, напоминанием, напротив, о собственных трудах и заслугах герой спрашивает у своего кумира последнюю милость — ради их общего блага сохранить при себе верного рыцаря и жреца и за порогом его здешней жизни. Ведь могущество божества, которому служит барон, настолько всеобъемлюще безгранично, что, исполняя любые желания, оно, разумеется, в силах исполнить и это. Исступление греховного чувства в концовке монолога выступает «во всем блеске своего безумия».

Поклоняясь золоту, герой руководствуется не спокойными доводами рассудка, а логикой безудержной страсти и пламенной веры. Отсюда убеждающая энергия патетической речи: она кажется неопровержимой (вспомним Белинского: «Ужасно, потому что истинно!»). Однако не все, в чем уверен барон, отражает действительность и является истиной:

Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу...

.....
Мне все послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознания...

Но могущество золота и могущество его жреца (слуги и господина) безусловны. Подумаем для начала о том, управляет ли и как управляет барон и миром, и самим собой.

Он убежден, что «выше всех желаний». Разве так? Во всяком случае он не «выше» желания спуститься в подвал и в сундуки «горсть золота накопленного всыпать». Уступки одному этому влечению довольно, чтобы построения барона зашатались, так как дело не в многообразии желаний, а в их силе. Сила же влечения скупого к золоту такова, что не он владеет своею страстью, а она им. Владеет не в меньшей мере, чем юношей — живое, непреодолимо-притягательное чувство. Ср. начало монолога:

Как молодой повеса ждет свиданья...

и т. д.

Однако страсть рыцаря превосходит всякую меру, поскольку не каждое молодое и пылкое чувство внушает такое ослепление, которое ставит предмет любви не только рядом с Господом Богом, но вместо него. Одержимый такой страстью барон никак не может быть «спокоен». Слишком многое его волнует: и экстазы восторга (при мысли об обладании им сокровищем), и страх (при мысли о необходимости рано или поздно его лишиться), и надежда (несмотря на необходимость, не расставаться с ним никогда). Да и все служение золоту от начала и до конца стóит рыцарю немалою беспокойства. Даже теперь, когда холм насыпан, здание возведено, обузданы ненужные желания, тяжелые думы и возмущение совести, барон не избавлен ни от «дневных забот», ни от «ночей бессонных». Ведь не будучи послушен, как ему кажется, «ничему», он в действительности послушен каждому дублону — и тому, который пока в чужих руках, и тому, который он уже присвоил:

... я мог бы
Ее прогнать, но что-то мне шептало,
Что мужнин долг она мне принесла
И не захочет завтра быть в тюрьме.

Этого «шепота» достаточно, чтобы скупой, вопреки его словам («я мог бы»), решительно ничего не «мог», кроме того, что он вынужден делать — терпеливо и замирая ждать, когда вместе с надеждой иссякнет терпение его жертвы. И затем: опустив дублон и другие червонцы в свой сундук, барон не вправе ими распорядиться. Он может их только стеречь. Ведь так же как «понемногу сокровища растут», они понемногу и тают. Насыпанный холм не должен убавляться ни на одну монету. Напомним: каждая из них, помимо свойственного ей достоинства, имеет и ту цену, которую придают ей

усилия владельца, ибо каждый червонец, а не только сокровище в целом, барону достается не даром. Поэтому любой золотой, упущенный здесь, наверху, или выпущенный из сундуков, оттуда, снизу, был бы, на взгляд скупого, свидетельством ничем не оправданной расточительности — легкомыслия и безумства. Но, разумеется, рыцарь достаточно опытен и тверд, чтобы ничего из возможного не упустить, и достаточно бдителен и самоотвержен, чтобы ничего не выпустить. Даже для собственных нужд. Отсюда суровость строгого воздержания:

... В нетопленной конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит...

Если так, если рыцарь при всем своем богатстве оказывается не в состоянии истратить ни единого червонца без ущерба для достоинства золота и взятых на себя обетов, то его слова:

Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья... —

означают, что дальше этого «сознанья» он в действительности и не должен, и не может пойти. Рыцарский и жреческий долг, как и всякий, неизбежно ограничивает возможности: он запрещает все, что ему противоречит. И чем более барон этому долгу послушен (а именно ему он и послушен), тем более он ограничен в своих возможностях. А так как любое желание (кроме желания копить и беречь) золото способно удовлетворить лишь убывая, то барон на самом деле не может удовлетворить ни одного. Волей-неволей он владеет и правит всем, как думается, только в «сознание» и ничем — реально. И вся «мощь» барона, все мыслимые ее «награды» остаются в тех же пределах — в пределах бесплодной мечты и «возвышенных» соображений:

Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смирненно будут ждать моей награды.

Но в том-то и дело, что барон может «лишь захотеть», он ничего не может исполнить. Иначе его ожидала бы участь лукиановского и шекспировского Тимона, расточившего богатство и упавшего с высот величия (священного и царского, по мнению барона) в грязь ничтожества. Барон чужд этому безумству по чувству и убеждению и никогда не ступит на скользкий путь, ведущий вниз. Но тогда, как это ни смешно, рыцарь тем более властен, чем менее он собирается этой властью воспользоваться, и тем более правит миром, чем менее это делает. Заявляя о своей абсолютной, самодержавной воле, он всеу тешит пустую гордыню. Несмотря на богатство (а здесь — и благодаря ему), рыцарь безусловно волен в одном — в своих

желаниях (во всем остальном он волен с условиями). И ни в чем больше. Но в таком случае он не слишком высоко поднялся над каким-нибудь последним нищим, который питаясь той же водой и коркой, тоже волен что угодно желать (чертоги... нимфы... музы... гений и т. д.) и ничего — исполнить. Поэтому, хотя барон в отличие от Тимона Лукиана и Шекспира пуще всего страшится падения, ему в действительности нечего бояться, ведь и теперь он занимает высокий трон только в «сознание», реально же он находится на такой высоте, с какой любое падение более или менее уже не страшно. Да и куда он мог бы упасть, благополучно спустившись на дно подвала?

Допустим, однако, что никакие особые отношения не связывают барона с его сокровищем, что он свободен от тяжелых вериг, которые на него налагает рыцарский и жреческий долг и которые ему мешают не только вознестись (ср.: «Вознес мой холм...»), но и заметным образом подняться. Допустим, что барон волен пустить в ход свое богатство. Предположим также, что оно не просто велико, а соединяет в себе все деньги мира. Означает ли это, что их владелец действительно правит миром? Разумеется, нет, не означает. Власть богача — власть золота. Золото же никогда не владело, не владеет и не может владеть миром. Оно владеет только тем, что в этом мире покупается и продается. Предметом купли-продажи может быть многое, очень многое, слишком многое, но, конечно, не все. Продавшийся, поработившийся гений — уже не «вольный гений» («вольный гений» купить нельзя); продавшаяся добродетель — уже не добродетель. Золото правит нуждой (в широком понимании слова) и пороком. И то не всегда, и то не безусловно. Даже на злодейство нельзя положиться каждый раз, и в любой момент купить.

Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли...

Но «злодейство» без всякого свиста, «послушно, робко» (ср.: «Слуга ваш низкий», а также: «Собака, змей!» и проч.) уже «вползло» не к богачу-барону, а к его нищему сыну. Почему? Только потому, что богач, если он и волен в своих желаниях, совершенно не волен — в чужих. Свободу чужой воли и чужих возможностей, которые не обязаны повиноваться его кодексу правил и «возвышенных» соображений, барон совсем не берет в расчет.

Но скупой рыцарь и в своих желаниях волен с существенной оговоркой. Он ничего не станет покупать. За известным исключением (стремлением копить и беречь), он управляет своими желаниями в одном направлении — не позволяя им осуществиться. И точно так же он правит другими людьми и миром. В этом смысле он действительно «выше» любых желаний: заживо похоронив свои, он заживо хоронит чужие. В той степени, в какой барон волен и, опираясь на феодальное право, в силе это делать, он возвращает себе вполне реальную, но особую власть над миром.

Напомним: уже и теперь барон гораздо ближе мертвым, чем живым. Только дань, которую он взимает в виде золотых монет и которая превращает чужую немощь в его призрачную мощь, чужое ничтожество в его призрачное превосходство, связывает рыцаря с этой жизнью. Ведь каждое жертвоприношение, поднимающее ввысь могучий холм, — не что иное, как погребальный обряд. Он совершается с исключительной серьезностью и в соответствующей обстановке — в молитвенной тишине, при блеске свеч, под восклицания жреца, отпускающего прегрешения и воздающего хвалу усопшим. Всякая «бедная» горсть, по воле их слуги и владельца опускаясь в подвал, в сундуки, застывает там в вечном покое. А так как никакая живая нужда и никакая исполненная жизни страсть не могут заставить барона ни забыть на этом свете, ни вернуть с того ни одной приговоренной к отпеванию или уже торжественно отпеты и набожно погребенной монеты, то весь их холм, заключенный под «мирные, немые своды», — их общая усыпальница, их могила. Скупой рыцарь хоронит золото и, похоронив, хранит. «Сторожевою тенью» он сидит на сундуках уже теперь. Ведь если он и сходит время от времени в свой подвал, то выходить из него он, разумеется, никогда не выходит: его душа, его тень бережет сокровище от живых всегда и всюду — вопреки завету Христа («Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут...») и в полном согласии с его выводом: «... ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея. Гл. 6. Ст. 19—21). Обманутый собственной страстью барон не замечает, что в заботе о чести и славе своего кумира, которые, по его мнению, не уступают чести и славе небесных сил, он на самом деле с маниакальным упорством уравнивает цену золота с ценою праха. Каждая горсть, снесенная рыцарем в подвал, и все его «блещущие груды» — только могильная насыпь. Так возникает мотив восходящих к Геродоту рассказов, где непомерные притязания человеческой гордыни оборачиваются в конце концов лишь более или менее внушительной кучей собранной понемногу земли. Но здесь для такого оборота не нужно ни завистливого вмешательства богов, ни колеса Фортуны, поскольку, сооружая здание могущественной державы исключительно в своем «сознании», барон бессознательно с самого начала занят только погребальной постройкой. Какой бы величественной ни казалась ему высота насыпанного им холма, в действительности она не выше подвальных сводов. В любом случае это всего лишь высота могилы, которую рыцарь не может увеличить и надгробием в виде собственной тени. Могильный холм, выше он других или ниже, как всякий памятник ушедшей жизни, свидетельствует скорее о равенстве всех со всеми, чем о преимуществе кого бы то ни было. Но насыпь из золотых монет рано или поздно окажется и ниже, и беднее самого бедного погребения, которое никто не будет подкапывать, потому что там нечего красть. Погруженное в сон, золото продолжает служить злу, кого-то ущем-

для в законных и честных правах, кого-то привлекая возможностью бесчестной наживы, поскольку «тайный» подвал барона — ни для кого не тайна, он известен даже «фламандским богачам», открыт любым «недостойным» взорам. Рано или поздно от сверкающих груд не останется ничего, даже тени. Ведь заживо хороня свои и чужие желания, барон заживо хоронит и золото. В руках другого, вернее — других владельцев оно вновь обретет отнюдь не призрачную силу, которая может обнаружиться лишь в постоянном обмене, реальном и действенном обращении. Ибо сила золота не только **определена** способностью удовлетворить ту или иную потребность, но этой способностью и **ограничена**: вне посреднической роли, вне обмена и обращения золото теряет всякое достоинство, так как оно не кормит, не поит, не одевает (ср. миф о царе Мидасе, вынужденном отказываться от награды, которую он опрометчиво попросил у Диониса, — превращать в золото все, к чему ни прикоснется).

Парадоксальная ситуация. Скупой рыцарь не находит лучшего способа доказать любовь к своему сокровищу, чем его угробить и похоронить. Во имя призрачной чести и славы он его бесчестит. Во имя призрачного могущества низводит до ничтожества. И что он сторожит теперь и собирается сторожить дальше, целую вечность? Один позор, одно бессилье на все согласного и безгласного кумира. Но в таком случае чем священнодействия жреца и рыцаря разнятся от кощунства, а этот жрец и рыцарь — от злодея? Ничем. И если барона нельзя упрекнуть еще и в коварстве по отношению к своему божеству, то только потому, что он чужд притворства и искренно не сознает того, что творит. Барон не лжец, он безумец. Его забота о золоте ничем не лучше наказания. А хвала и честь, воздаваемые запертому, отгороженному от мира и приговоренному к ничтожеству божеству, ничем не лучше оскорбительной насмешки. Не случайно у Лукиана Плутос (богатство), объясняя Зевсу свое раздражение и против расточителей, и против скупцов, говорит о том, что его привлекают только те, которые знают меру: «Подумай ради Зевса, Зевс: если бы кто-либо, сочетавшись законным браком с молодой красивой женщиной, не стал бы ее беречь, совсем не ревновал бы ее и позволял бы ей бродить, где она захочет, днем и ночью, отдаваться желающим {...} разве ты считал бы, что такой человек любит жену? {...} А если кто-нибудь, наоборот, взял по закону в свой дом свободную женщину для рождения законных детей, не прикасается к прекрасной, цветущей девушке и не дает взглянуть на нее другим, держа ее, бездетную и бесплодную, взаперти, и только твердит, что любит ее, что действительно видно по цвету его лица, по похудевшему телу и впалым глазам, разве такой человек не показался бы тебе сумасшедшим?»⁴³

Герой Пушкина безумен вдвойне: его безумие питается не только чрезмерной страстью, но и убеждением, находящим ей высокое оправдание. Не выходя из своего подвала, барон умудряется так сумасбродствовать и отличаться в рыцарских «подвигах», как не отличался и Дон Кихот, пускавшийся для той же цели далеко за черту ближайшей округи. При всем своем безумии Дон Кихот

никогда не посягал на жизнь и честь своей избранницы и, как бы он ее ни представлял, никогда ее ни с кем не путал. Но барон, сам того не понимая, постоянно изменяет избранной им Даме — той, которой он тайно присягнул на верность, и, напротив, постоянно, как увидим, демонстрирует верность другой, быть преданным которой он не клялся. Однако золото неожиданным образом мстит барону. Оно все-таки возвращает себе посредническую роль ради посрамления слишком вознесшегося и потерявшегося героя. В результате — не ведая того, герой, как выясняется, и обманывает, и обманут. Своим «волшебным блеском» золото слепит его,⁴⁴ мешая увидеть (при всей его посвященности) самую главную тайну. Ослепленный этим блеском барон не может разглядеть малопривлекательную Даму, чьим достоинствам он на самом деле ревностно и неотступно служит. Ведь все услуги рыцаря своему божеству — услуги мрачного посланника преисподней, собирающего в ее пользу страшную дань с живых. Герой совсем не рыцарь Богатства, он рыцарь Смерти — Дамы настолько нищей, что, не воспользуясь она чужим посредством и чужим, заманчиво сверкающим обличем, она не могла бы показать даже лица, так как она лишена плоти и любые ее воплощения — прах и тень, тлен и призрак.

Но в своей безмерной нищете Смерть безусловно более могущественное божество, чем Богатство. В ее власти похоронить и золото, и того, кто его хоронит; воспользоваться их посредством и обойтись без него. Именно этой губительной властью, идущей не из небесных высей, как барону в безумии мнится:

Так я ...

.....
Вознес мой холм — и с высоты его
Могу взирать на все, что мне подвластно.
(.....) как некий демон
Отселе править миром я могу... —

а из глубин земли, герой реально и правит миром. Будучи рыцарем Смерти, он способен оказать лишь одну услугу живым — похоронив их желания в общей могиле, помочь умереть им самим. Не выражая враждебных людям убеждений, даже не испытывая подобных чувств, барон одною силою своей греховной страсти оказывается таким же человеконенавистником, как сам Тимон, чьи деяния сохранились в легендах, отозвавшихся в произведениях позднейшей литературы. Плутарх рассказывает, что Тимон «однажды в Собрании <...> поднялся на ораторское возвышение и, когда все замолкли, до крайности изумленные, произнес следующие слова: „Есть у меня, господа афиняне, участочек земли подле дома, и там растет смоковница, на которой уже немало из моих любезных сограждан повесилось. Так вот, я собираюсь это место застроить и решил всех вас предупредить — на тот случай, если кто желает удавиться: пусть приходит поскорее, пока дерево еще не срублено“. Когда он умер, его схоронили <...> у моря, но берег перед могилою осел и ее

окружили волны, сделав совершенно недоступною для человека. На памятнике было начертано:

Здесь я лежу, разлучась со своею злосчастною душою.
Имени вам не узнать. Скорей подышайте, мерзавцы!

Говорят, что эту надгробную надпись Тимон сочинил себе сам.⁴⁵ Но что бы Тимон ни произносил и ни сочинял, он ограничивается пожеланиями, он никого не убивает и никого не тащит на свою смоковницу. И как бы этот озлобленный чудак ни враждовал с людьми, он сохраняет с ними связь, признавая общие с согражданами государственные установления (ср., например, закон, который у Лукиана придумывает для себя Тимон и который он «выносит» и «утверждает» по обычаям афинской демократии) и одних и тех же богов. Другое дело барон. Он почитает только свое божество, свой закон и обычай. С тех пор как любовь к богатству освободила барона от какой бы то ни было иной заботы, долга и привязанности, он разорвал все связи с людьми и оказался даже более последовательным мизантропом, чем Тимон. Ведь Смерть, которой служит рыцарь, не умея ее разглядеть за чужой личиной, не просто не знает сострадания, но в силу неистощимой алчности постоянно требует новой дани с живых. Как и суровый барон, эта Дама воинственна и неумолима. Но в противоположность ему она вообще не ведает обычаев и правил, не брезгуя ничьим посредством, не сторонясь ни лжи, ни коварства. Она готова принять в свои слуги и рыцарей всех и каждого без разбора и, будучи расположенной, как ни странно, к самой неожиданной веселости, в любой момент не прочь над всеми и каждым посмеяться. Скупой рыцарь не составляет исключения. В конце концов он слишком увлечен блестящей личиной и слишком ценит свое сокровище. Между тем если любые блага жизни ничего не стоят в сравнении с золотом, то золото, уж конечно, ничего не стоит в сравнении со Смертью. Она обесценивает и заслуги рыцаря, и достоинства (власть и силу) его кумира. Ведь что значит мучительная цепь непрерывных отречений, если путь к цели (удовлетворению любых желаний) мог бы быть гораздо ближе и прямее? В самом деле: способность золота утолить нужду и страсть предполагает долгое воздержание и обусловлена теми или иными размерами богатства, тогда как Смерть удовлетворяет все желания сразу и без всяких условий, раз и навсегда отменяя надобность в чем бы то ни было — касается ли это насущной нужды или самой прихотливой страсти.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Городецкий Б. П.* Драматургия Пушкина. М.; Л., 1953. С. 273.

² *Минский Н. М.* «Скупой рыцарь» // Пушкин (Библиотека великих писателей) / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1909. Т. 3. С. 102.

³ *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 276.

⁴ *Гуковский Г. А.* Пушкин и пробле-

мы реалистического стиля. М., 1957. С. 311 (ср. с. 312—316). О других ученых, разделяющих это мнение, см. в статье: *Аникин А. В.* Из реально-исторического комментария к «Скупому рыцарю» // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1989. Вып. 23. С. 112—113. Иначе думал Д. П. Якубович, ср.: «... у Пушкина образ скупого (...) двоится (...) между Бароном и ростов-

щиком — „жидом“» (Якубович Д. П. Скупой рыцарь // Пушкин. Полн. собр. соч. «Драматические произведения». М.; Л., 1935. Т. 7. С. 516).

⁵ Аникин А. В. Из реально-исторического комментария к «Скупому рыцарю». С. 115.

⁶ Там же. С. 112. Полемизируя с Д. Д. Благим, А. В. Аникин называет еще один возможный источник странной аберрации — толкование страсти скупого рыцаря Достоевским: «... феномен власти денег, который был известен, скажем, уже Вергилию (...) превращается у исследователя непосредственно в обобщение капитализма XIX в. Как известно, образ Скупого рыцаря проходит „фоновым мотивом“ через ряд произведений Достоевского. Это называется у него „идея Ротшильда“ (имеется в виду в первую очередь „Подросток“, 1875 г. — В. В.). Нет сомнения, что у Достоевского речь идет о капиталистическом богатстве. Но это не может служить аргументом при истолковании социальной природы образа Барона. Ведь он исполнен колоссальной художественной силы. При изображении мира, где деньги властвуют как капитал, Достоевский, конечно, предпочел гигантскую и загадочную фигуру Барона приземленному образу ростовщика Соломона, хотя последний, быть может, ближе к реальному Ротшильду». (Там же. С. 112—113). О «Скупом рыцаре» у Достоевского см.: Бем А. Л. «Скупой рыцарь» в творчестве Достоевского // О Достоевском. Вып. III. У истоков творчества Достоевского / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1936. С. 82—123.

⁷ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 476, 477.

⁸ Там же. С. 478.

⁹ Минский Н. М. «Скупой рыцарь». С. 103.

¹⁰ Там же. С. 104.

¹¹ Якубович Д. П. Скупой рыцарь. С. 522.

¹² Пересказывая Шателлена, придворного историка Филиппа Доброго и Карла Смелого, чей труд отразил типичные представления своего времени, исследователь средневековья так рисует этот идеал: «... аристократия (...) призвана возвеличивать добродетель и блюсти справедливость — деяниями и нравами прекраснейших лиц своего сословия являя зеркало всем прочим. Высшие задачи страны: поддержание церкви, распространение веры, защита народа от притеснения, соблюдение общего блага, борьба с насилием и тиранией, упорочение мира — все это у Шателлена приходится на долю аристократии. Прав-

дивость, доблесть, нравственность, милосердие — вот ее качества» (Хейзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV—XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. С. 63. См также: Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман. М., 1976. С. 19—20 и др.).

¹³ Хейзинга Й. Осень средневековья. С. 78.

¹⁴ Там же. С. 29.

¹⁵ Там же. С. 30.

¹⁶ Минский Н. М. «Скупой рыцарь». С. 102.

¹⁷ Скатов Н. Русский гений. М., 1987. С. 304.

¹⁸ Ср., например: «... так называемая „живая сила“, живое чувство бытия, без которого ни одно общество жить не может и земля не стоит, — решительно Бог знает куда уходит (...). Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и придавливает его наполювину, — и вот он под ним корчится, а освободиться не умеет. Иной соглашается жить и придавленный, а другой не согласен и убивает себя». (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 24; ср. также: Т. 10. С. 27, Т. 24. С. 51. Нельзя не подчеркнуть также, что похвала идее скупого рыцаря принадлежит не Достоевскому, а его герою, подростку: «Я еще в детстве выучил монолог Скупого рыцаря у Пушкина; выше этого, по идее, Пушкин ничего не произвёл!» (Там же. Т. 13. С. 75).

¹⁹ Хейзинга Й. Осень средневековья. С. 222.

²⁰ Там же. С. 222—223.

²¹ Ozanam A. F. Saint François // Ozanam. Oeuvres complètes. Éd. 2. Paris, 1859. Vol. 5. P. 55.

²² Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 7. С. 411.

²³ Сервантес Сааведра Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1979. Ч. 1. С. 315—316.

²⁴ Якубович Д. П. Скупой рыцарь. С. 516.

²⁵ Геродот. История. В девяти книгах. Л., 1972. С. 327—328.

²⁶ Там же. С. 318.

²⁷ Там же. С. 320.

²⁸ Ср. у Геродота: «Если мое предположение правильно, то Ксеркс велел копать канал просто из пустого тщеславия. Он желал показать свое могущество и воздвигнуть себе памятник. Хотя корабли легко можно было протаскать волоком через перешеек, царь все же повелел построить канал такой ширины, что по нему одновременно могли плыть две триеры на веслах.

Тем же самым людям, работавшим на канале (это были войны Ксеркса. — В. В.), было приказано строить мост...» (Там же. С. 322).

²⁹ Олсари А. Описание путешествия в Московию // Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 441—442.

³⁰ Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 414—416.

³¹ Передавая в форме лаконичных суждений сцену Шекспира, Пушкин использовал прием, противоположный тому, который использовал Л. Стерн. Заимствуя некоторые пассажи произведения одного из своих предшественников, английского писателя Р. Бертона («Анатомия меланхолии, 1621»), в «Тристама Шенди», Стерн, напротив, персонифицирует в отдельной сцене рассуждение Бертона о меланхолии. См. об этом: *Стерн Л. Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена* / Пер. и примеч. А. А. Франковского. М.; Л., 1949. С. 331, 332, 666—667.

³² Зависимость Шекспира от диалога Лукиана «Тимон, или Мизантроп» и оригинальный поворот по ходу сюжета в сравнении с античным источником отмечены комментаторами Шекспира. См., например: Шекспир (Библиотека великих писателей) / Под ред. С. А. Венгерова, ком. Э. Радлова. СПб., 1903. Т. 3. С. 511—512; Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. / Ком. А. Анкста. Т. 7. С. 800, 805.

³³ Лукиан. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1935. Т. 2. С. 252.

³⁴ Ср. позднее у Шопенгауэра: «Часто упрекают людей за то, что их желания направлены главным образом на деньги, которые им милее всего. Но ведь вполне естественно, даже неизбежно любить то, что, подобно неутомимому Протею, способно в каждый момент превратиться в любой объект наших столь капризных желаний и разных потребностей. Всякое другое благо может удовлетворить лишь одну потребность, одно желание: еда важна лишь для голодного, лекарства — для больного, вино — для здорового, шуба — для зимы, женщины — для молодежи и т. д. Все эти блага относительны; лишь деньги — абсолютное благо, так как они удовлетворяют не одну какую-либо потребность — in concreto, а всякую потребность — in abstracto». (Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. М., 1990. С. 41).

³⁵ Известный логический парадокс о «куче» («одно зерно не составляет кучи; прибавив еще зерно, не получивши кучи; как же получить кучу, прибавляя по одному зерну, из которых ни одно не составляет кучи») древнеримский сатирик Персий

применил к скряге в концовке одной из своих сатир. Решение этого парадокса, по мнению Персия, заключается в том, что никакая прибавка в глазах скряги не составляет достаточной кучи. Иначе говоря: имея начало, эта «куча» не имеет конца. См.: Римская сатира (Б-ка античной лит-ры) / Ком. Ф. Петровского, М. Гаспарова. [М.], 1989. С. 114, ср. с. 458.

³⁶ Рыцарская присяга требовала борьбы со злом, защиты церкви, вдов, сирот, всех обиженных и несчастных. Прося трактирщика посвятить себя в рыцари, Дон Кихот объясняет: «... ночь я проведу в часовне вашего замка в бдении над оружием, а завтра, повторяю, сбудется то, чего я так жажду, и я обрету законное право объезжать все четыре страны света, искать приключений и защищать обиженных, тем самым исполняя долг всего рыцарства...» И затем: «... знайте, что я — доблестный Дон Кихот Ламанчский, заступник обиженных и утесненных» и т. д. *Сервантес Сааведра Мигель де*. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Ч. I. С. 36, 46.

³⁷ Лукиан. Собр. соч. Т. 2. С. 235.

³⁸ Там же.

³⁹ Там же. С. 237.

⁴⁰ Шекспир У. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 481, 493.

⁴¹ В метафорах, изображающих эти муки, уже И. С. Тургенев увидел «английскую, шекспировскую манеру». Его слова напомнил Н. О. Лернер, приводя конкретные примеры из произведений Шекспира, связанные с образом могил, высылающих своих мертвецов: «... склепы и наши могилы высылают назад тех, кого мы похоронили» («Макбет»); «Могилы по моему велению будили своих спящих, раскрывались и выпускали их наружу» («Буря»); «Зачем гробница, в которую мы тебя с миром опустили, разверзла свой тяжелый и мрачный зев и извергла тебя обратно?»; «кладбища разврезаются» («Гамлет»); «призраки разврезают свои могилы» («Король Генрих VI»). (Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 219—220). Сославшись на эти примеры, Ю. Д. Левин пишет: «Но Лернер не обратил внимания на то, что близость к Шекспиру не столько в этом отдельно взятом образе, сколько в самом приеме последовательного нагнетания метафор. У Пушкина совесть уподобляется поочередно зверю, гостю, заимодавцу, ведьме». Ср. знаменитые слова Макбета:

Жизнь — ускользающая тень, фигляр,
Который час кривляется на сцене
И навсегда смолкает; это — повесть,
Рассказанная дураком, где много
И шума и страстей, но смысла нет».

(Левин Ю. Д. Метафоры в «Скупом рыцаре» // Русская речь. 1969. № 3. С. 18). Не входя в обсуждение вопроса по существу, заметим, что в «последовательном нагнетании метафор» Пушкин не столько идет за Шекспиром, сколько уходит от него. Цепочка сменяющих друг друга образов у Пушкина соединена по принципу градации, передающей постепенное усиление страданий, причиняемых угрызениями совести. Ни в примерах Н. О. Лернера, ни в примере Ю. Д. Левина такой градации нет. И надо сказать, что для Шекспира прием, использованный Пушкиным, вообще не характерен. Нанизывание метафор, служащих художественным определением того или иного понятия, у Шекспира, как правило, строится по принципу амплификации — расширения, распространения возможных образных соответствий, с разных сторон поясняющих определенный предмет (прием, чрезвычайно распространенный в средневековой литературе). Это видно и в процитированном Ю. Д. Левиным отрывке: жизнь — тень... фигляр... повесть, рассказанная дураком. Метафоры, входящие в цепочку-амплификацию, могут быть поставлены без ущерба для общего смысла. В градации такая перестановка невозможна. Частое у Шекспира олицетворение отвлеченных понятий — тоже обычно в литературе средневековья, его нельзя считать отличительной приметой стиля английского автора. Но мы склонны видеть намек на излюбленные приемы Шекспира в словах, начинающих у Пушкина ряд метафорических уподоблений: «Когтистый зверь, скребущий сердце...» (вместо мыши). Этот намек, окрашенный легкой иронией, обыгрывает явную склонность Шекспира к причудливым, усложненным перифразам и преувеличению. Ср., например, цитированный выше монолог Тимона о золоте или пример, приведенный Ю. Д. Левиным в иной связи:

Сто языков у совести моей,
И каждый мне твердит по сотне сказок
И в каждой сказке извергом зовет.

(Левин Ю. Д. Метафоры в «Скупом рыцаре». С. 19).

⁴² Комментируя обвинения и их последовательность в разговоре барона с герцо-

гом, Б. В. Томашевский пишет: «Здесь, понятно, возможна двойная интерпретация; возможно предположить, что ложное обвинение в краже для чести рыцаря (Альбера. — В. В.) сильнее, чем ложное обвинение в убийстве. Таким образом, можно предположить, что, стерпев обвинение в покушении на жизнь, рыцарь Альбер не перенес обвинения в покушении на кражу. Но нет нужды предполагать здесь игру на возрастающей градации обвинений. Гораздо проще объясняется это тем, что, заявляя о лжи отца при втором его обвинении, Альбер не мог опровергать по совести первое обвинение, чувствуя себя морально ответственным за разговор с Соломоном». (Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 280—281). Отрицая градацию обвинений, исследователь почему-то обдумывает не побуждения того, кто говорит, а побуждения того, кто подслушивает. Но логика обвинений такова, что она требует возрастающей силы аргументов — от более слабых доводов к сильнейшим. В самом деле: покушение на убийство для барона означает утрату только этой жизни, тогда как кража — утрату и этой жизни, и будущей. Ограбление в данном случае равнозначно двойному убийству. Учитывая эту градацию, Пушкин добивается иронического эффекта, так как в логике нормального восприятия убийство более тяжкое преступление, чем кража.

⁴³ Лукиан. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 241.

⁴⁴ Мотив золотого блеска, туманящего людям глаза, косвенно восходит к Лукиану. На вопрос Гермеса Плутосу: «...как это у тебя (...) слепого и к тому же желтого и грузного, столько любовников, которые в тебе видят все лучшее?», тот поясняет, что никто из них не видит его таким, каков он есть, так как Плутос является им «в самой обольстительной личности». «Если бы кто-нибудь показал меня им совсем нагого, то они, конечно, осудили бы самих себя за то, что так много проглядели». (Там же. С. 245—246).

⁴⁵ Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. М., 1964. Т. 3. С. 268 («Антоний»).